

сущими ему настойчивостью, бесстрашной нацеленностью на достижение правды (как бы ни была правда неприглядна) повторяет в ответе с еще большей резкостью, императивностью: «И та бездна, о которой вы говорите, есть не что иное, как привычка притворяться, себя обманывать <...> Вы, говоря о бездне, как будто признаете, что вы ничего не знаете. Ничего не знать нельзя. Утверждать живому человеку и умственно здоровому, что я ничего не знаю, то же, что утверждать, что я никогда ничего не ем или что кровь во мне не обращается. — Мне кажется, что каждый человек должен разобраться, чем он знает и что он знает (а что он знает, это уже включено в понятие человека).

Теперь мне представляется другой вопрос: каким образом такой твердый и ясный ум, как ваш, может этого не видеть? И я отвечаю себе, что это происходит оттого, что вы всю свою жизнь, 40 лет, провели в том, чтобы приобретать знания разумным путем, и вам кажется, что всё, что не лежит на этом пути, не есть знание.

Я пристаю к вам с нелегким — дайте мне ясный ответ, откуда вы знаете то, чем вы живете, чем руководились и руководитесь в жизни». И с досадой на упорствующего Страхова, все время уходящего в сторону от прямых ответов, бросает: «Если я вам наскучил, не отвечайте».¹¹⁵

Страхов, заподозрив не без основания раздражение Льва Николаевича, поспешил ответить, чтобы «уничтожить» недовольство, в очередной раз ловко увернувшись от вопросов-капканов: «Вы спрашиваете, чем я живу? Но, во-первых, я могу сказать, что я вовсе не живу. У меня осталось самолюбие, которое постоянно побуждает меня служить, одеваться, беречь деньги и т. д., все для того, чтобы мне *не было стыдно* и чтобы быть *не хуже других*, вести себя *по-людски*. Потом, я выгадываю сколько можно досуга, читаю и все думаю о великой загадке; Вы знаете, что я постоянно занят вопросом о религии. Что из этого будет, не знаю; вероятно, доведется умереть в том же грустном раздумье. А может быть, перед смертью поглупею и отупею — и пропадет для меня мой великий интерес. Но, пока дело идет как теперь, я довольно спокоен; отчасти мое самолюбие удовлетворено, но главное, поверьте, в том, что я сознаю свою добросовестность, свои искренние усилия, свое религиозное отношение к предмету. И пусть будет, что будет; это уже не моя вина, и я тут не отвечаю, потому что не властен.

Для Вас, для Вашей энергической природы, такое спокойствие и раздумье досадно, непонятно; Вы даже доказываете, что оно невозможно, так как при нем *жить нельзя* — я и не живу».¹¹⁶

Страхов оказался крепким орешком, и Толстой со своими трудными вопросами отступил (разумеется, временно).

Страхов стремится найти какой-то средний путь, нечто промежуточное между биографией и исповедью. В августе 1878 года он пишет Толстому о том, что все больше укрепляется «в мысли написать что-нибудь по Вашему вызову; своей биографии я никак не стану писать, но мне хочется поговорить о себе и как-нибудь обобщить вопрос. Напишу *Вместо исповеди* и посвящу Вам. Боюсь только, что разыграются дурные чувства, которых так много возбуждает в нас наше милое Я».¹¹⁷ «Вместо исповеди» — это компромисс, полуправда, уклончивый ответ на вызов Толстого.

К «трудным» личным сюжетам обратится Страхов и в письме от 14 сентября 1878 года, в котором он сначала рассуждает о «всегдашней и великой

¹¹⁵ Там же. С. 439.

¹¹⁶ Там же. С. 441.

¹¹⁷ Там же. С. 458.